

П Р О З А

Евгений Звягин

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ВДОЛЬ РЕКИ МОЙКИ

ИЛИ

НАДИТЬСЯ НА ХАЛЯВУ

Посвящается моему брату

На халву и уксус сладок
(народная поговорка)

...and ... (Lawrens Stern)

Разбуженный утренним гимном из репродуктора, я вышел на улицу с тяжкого и дурного похмелья, с твердым намерением утешиться. Дело было в начале мая, когда кроны деревьев окружали легкий зеленый дым просыпающейся листвы, когда из подворотен подувало нелетним, знобящим отчасти ветерком, сулящим лихорадку и беспокой, но грохот киянок по жестяным починяющимся крышам оттуда же, из подворотен, свидетельствовал все же о непреложно случившемся, то есть - о лете. Вышел я из громоздкого псевдомавританского здания на углу Литейного проспекта. Божьи часы на башне Спасо-Преображенья показывали половину седьмого, над ними синело чистое окаянное небо.

Но весь этот утренний полупраздничный антураж не тронул мою закосневшую душу. Хотелось ей одного - забыть Палермо, страну поруганных надежд и несбытий улований. Впрочем, как вы понимаете, Палермо тут ни при чем, равно как и Рим или Вена. Виноваты, возможно, черные гибеллины. Впрочем, черт разберется в гибельном ихнем свойстве. В том, что они заполонили обозримое пространство моей души, повинен только я сам. Только я, а никак не Зина, всего лишь несовершенное существо, однополое, даже не андрогин. О том же гласит и учение о свободе воли интеллигентного человека. Так что если она и высказала вчерашним вечером свое, надо сказать, сугубо отрицательное мнение о моем образе жизни, а также моральном облике, то тут еще не причина. Помнится, сквозь леткий туман сигаретного дыма я любовался ее воодушевлением, ее блестящими глазками, раскрасневшимися щечками.

- Зина! - сказал я, - верь мне, все образуется! Дорогая! - продолжил я, - я хочу умереть у тебя на руках в тот же день, что и ты!

Тут захотели пьяные бородачи, а Зина заплахала. Она швырнула в меня надкусенным бутербродом и убежала. Видит Бог, у меня

не было никакой физической возможности следовать за ней. Меня положили в темном углу и долго о чем-то бубнили и звенели стаканами...

Проснувшись, я тайно покинул очередное обиталище подвыпивших муз. И ныне стою на мосту через Фонтанку и напряженно глядываюсь в прогорклые ее волны. Насланные пятна плывут по реке. Полузатопленные ящики и намокший детский берет. Набережные блики на ее поверхности. В их вялой игре - вся усталость забуренной моей души... Ничто не сбылось из прекрасных мечтаний. Вот застегну плащ потуже, чтобы труднее было баракаться, и - пиши, начинец, прощало!

Да и впрямь - за что осуждать бедного самоубийцу? Вот он, выброшенный на берег промышленного затона в устье Невы, лежит, задрав к небу слегка приплюснутый нос. Волосы спились от мазута, очки, прикатые распухнувшими ушами, совсем не прозрачны. Да и нечем глядеть сквозь них, ибо глаза заплыли. На груди - привешенный к шее плакат с подусмятой, расплывшейся, но различимой надписью: "Я жил - и страдал. Я умер - и облегчился". Рядом - остав проржавевшего, полуразобранного транспортера.

Какая жалость, что Зина не видит меня в этот час торжественного прощанья с действительностью! Сколь горестно-горделивая гримаса украшает мое, доселе будничное лицо. Сколько смиренного достоинства выражает, может быть, несколько грузная фигура, сохранившая остатки былой стати! Нет, Зинаида, юница, не вам судить!

Итак, над героем сомкнулись мягкие волны. Здешние, правда, хлипковаты для мягких. Но внутренний взор, взор матерого суицидчика и в них углядит достойный почтения реквизит. В путь, бедный Иорик!

Я приподнял, было, левую ногу, чтобы поставить ее на литой выступ перил, а потом перекинуть правую, но тут же отирянул, закашлялся и расчихался. Пока я раздумывал, наступило бодрое промышленное утро, и деловая активность, в виде огромной ревущей "Татры", выплюнула прямо в лицо мне огромный клуб зловонного, густого и ядовитого дыма. Из глаз моих потекли слезы, в их серебристом мерцании обозначился среди такого дыма знакомый мне

абрис. Передо мной стоял друг моей юности, художник, которого звали иу, скажем, Дмитрий.

- Здорово, Никеша! - приветствовал он меня, как будь совсем не удивляясь нашей ранней утренней встрече. - Какими судьбами в этих краях? Головка, небось, побаливает?

- Салют! - буркнул я. - Все-то ты знаешь, с тобой играть неинтересно...

- А это ты видел? - и он торжественно высунул из плаща белую полистиленовую головку. - Хирса! - гордо сказал он. - Самое то, что надо! Быиг поправился!

- Да я, как-то, знаешь, не в настроении... - пробовал я отвертеться от неминуемого.

- Брось ты комплексовать, пошли к Гераклу! - быстро решил Дмитрий. В нашей юношеской компании решения принимал он, так что мне ничего другого не оставалось, искать покорно за ним последовать.

Давным-давно, лет пятнадцать тому назад, мы облюбовали этот обширный, прохладный и уютный портик Ихайловского замка. Ментура сюда забредала редко, и нам никто не мешал всплать напиваться. Отсюда сквозь спаренные колонны открывался чудеснейший вид на Мойку, в том месте, где соединялась она с Фонтанкой, на светлые зеленые кусти Летнего сада. Портик обрамляли две массивные скульптуры стареющего известняка: одна из них была фигура Геракла, опирающегося на пальцу. Потому посещать это место и называлось - "пить у Геракла".

Дмитрий ловко, двуми сильными костлявыми пальцами, выдернул пробку. Образовалась легкая, характерно-радостная заминка алкогольного предвкушения. - Ну, Никеша, над чем изволите работать? - улыбаясь с невыразимой добротой, спросил старый друг. Сам характер вопроса, уже давно мне не задаваемого, и какие-то необычные интонации вдруг меня удивили. Только тут я заметил некую важную несообразность в его облике. Дмитрий сегодня выглядел поразительно молодым, именно таким, каков он был полутора десятками лет ранее. Когда я видел его в последний раз, где-то с полгода назад, это был старый, с трясущимися руками, со щетиной в черепе, абсолютно спившийся человек. А теперь передо мною стоял молодой, малый Дима! Я пристально поглядел на него сквозь очки,

но говорить на эту тему было неудобно. Он, кажется, заметил мой удивленный взгляд, однако не сказал ни слова.

Когда-то Дима учился в Высшем художественном училище, стеклянный купол которого виднелся отсюда из полутьмы портика. Он был нашей гордостью, самый талантливый студент курса. Потом неожиданно бросил учебу, мотивируя решение тем, что ему здесь все ясно, а вокзал, построенный ректором заведения - бездарная ерунда. Стал сотрудничать иллюстратором в литературных журналах. Дебют его был интересен, Диму заметили. Не счастье тракторов на полях, башенных кранов и чаек над ними, исполненных твердым диминим карандашом и напечатанных в соответствующих номерах. Но что-то не в радость пришелся Диме его успех. С годами все с большей скучой глядел он на Божий мир. Остальное - к чему доказывать?

- Понимаешь, Никеша, - говорил удивительно молодой Дима, - я твердо верю в твою звезду. Хоть человек ты нетвердый и закомплексованный, нитка Судьбы вьется в твоих непонятных глазах. Запомни мои слова, я ведь не люблю ложного пафоса. Будь требовательней к себе, не поддавайся на провокацию... Как твоя мама? Все пылит тебя?

- Да нет, нынче она в отъезде. У брата живет, в Барнауле. Есть только Зина, Зизи, так сказать. Души заманичивый фиал...

- Фиал? Это плохо. Так, стало быть, ты тоже неудача? Ну ничего, пробьешься. Выпей, старик, и пошли все на ...

Вино несколько прочистило мои мозги. С необычайной силой реальности я вдруг увидел пыльные гранитные ступени, косо разрезанные темной тенью от гераклова постамента, ровные швы между зелеными от старости, исходящих прохладой мраморных плит, в глубине портика мусорный каменный пол, усыпанный по дальним углам прелым прошлогодним листом. Когда я отвлекся от своего глубокого созерцания, друга рядом со мной уже не было...

Я потолкался глазами между колонн, оглядел предлежащую панораму. Дима исчез. - Ах, Дима, что ж это ты слинял, не прощаешься? - с горечью думал я. А ведь он, наверное, никогда, за всю историю нашей дружбы не был так сердечен и мил, как сегодня. И где он достал бутылку в такую рань?

Между тем вдоль чугунной ограды Мойки со стороны замка уже располагались любители-рыбаки. Они доставали длинные коленичатые удилища, блестящие и желтые, словно сработанные из полированной

кости. Что-то свинчивали и цепляли, забрасывали в темную воду за парапетом. Я помню их с давних пор, когда Питер был вымощен квадратными известняковыми плитами с круглыми водосливами у водосточных труб, когда по бульжным мостовым бегали "эмки", "победы" и полуторатонки, а также пахучий гужевой транспорт, когда заводы, распугивая рыбу, призывали трудяг грустно-высокими, почти мистическими гудками. Помню, как их прорезиненные мешки для рыбы сменились полизтиленовыми, а потом, почему-то, холзовыми, новую бедность которых только подчеркивал наведенный силует какого-нибудь солотского певца. Помню их неторопливые движения, лица, застывшие в некоей, исполненной важнойдумы, прострации. За день, потраченный на дурацкое торчание у парапета, они могли наработать на уйму рыбы, но почему-то отсюда не уходили. На что они надеялись? Наймать лосося в глубине мутной Мойки? Или избыть среди ловли пропаху прошлых надежд?

А, все одно. Надо искать местечко потише. Исполнение моего замысла требует большего уединения. Я же не какой-нибудь пошлый истерик, бравирующий собственной решимостью втайной надежде на спасение! Дорогу осилит идущий, как говорили в начале шестидесятых годов. Не трусь, мужчина! С этими словами я вышел на набережную Мойки и тронулся вдоль нее, что-то гурлыча себе под нос, ибо димитро вино все-таки подействовало.

Я шел, а надо мной голубело немыслимое пространство. С трудом сдерживал я желание поднять голову и взглянуть в самые яркие и подные участки неба. Ибо радостью исходило оно совсем неуместное. Особенно это желание усилилось, когда я, подняв воротник, боком проскальзываю мимо огромных кристаллов воздуха на Дворцовой. Ангел с колоннами погрозил мне ясным крестом.

- Тубо тебе! - хотелось мне крикнуть в ответ. Но я испугался невыгодной для меня конфронтации и послешил поглянуть дальше, туда, где было грязней и немного тише. Только что петая песенка замерла на губах. Как дошли мы до жизни такой? - горестно думал я. - Кто виноват?

- Ты! - ответило воспоминание. - Ты, и больше никто. Почему ты отказался оформлять планетарий в День астронома? Работа прекрасная и небезыгодная. И матушку бы утешил...

- Нет никакого Дня астронома! - горестно молвил я. - Что ты мне лапшу на уши вешаешь! Да и не люблю я звезд... День гастроно-

ма - вот это другое дело.

- То-то и оно-то, - ехидно ответил я сам себе. - Что до гастронома, так здесь ты первый!

- И потом, - отвечал я, не слушая, - наш семейный конфликт носил чисто духовный характер. Не надо мешать сюда грубую прозу.

- Ну-ну, - примирительно отвечал внутренний голос. - Ежели ты такой недотепа, думай как хочешь. Зачем же тогда задаешь риторические вопросы?

Полный внутренних прений, я брел, не замечая окружающего. Незаметно дошел до Невского и пересек его, чуть не попав под блестящую импортную машину, что, впрочем, не нарушило моих тягостных размышлений. Долго тянулся этот ненужный и бессмысленный диалог, пока я не обнаружил себя в закусочной, там же, на углу Невского, стоящим в очереди за котлетами без гарнира. Когда-то, работая недалеку, я частенько сюда заглядывал, так что и сейчас, по-видимому, забрел сюда чисто автоматически. Я порылся в кармане и нашупал горстку мелочи. Ну что ж, совершить задуманное можно, в конце концов, и на сытый желудок!

Примостив тарелку с котлетами на мраморный столик у окна, я машинально ковырял плоской алюминиевой вилкой, у которой недоставало одного из средних зубцов. Вспоминал последний - ненужный и горький разговор с матушкой. Вспоминал и Зину - глупую девочку, сарафанная мудрость которой спасовала перед моим сомнительным статусом непризнанного деятеля искусства. Постепенно я опустил на своем лице чей-то твердый и неодобрительный взгляд. Поднял глаза и уставился прямо в лицо ханыги с подбитым глазом, который, напрягши крутые небритые скулы, глядел на меня неотрывно и мужественно.

- Ну что, пить будем или вола вертеть? - спросил он вызывающе.

- Простите? - не понял я.

- Чем или весла сузим?

- Ну, вы как знаете, а я-то тут причем?

- Слушай, кент! - сказал ханыга. - Ты из себя интелля не строй. Погляди в зеркало - у тебя же бодун третьей степени! Жалко смотреть. Да ты не мудри, я колоть тебя не собираюсь. Видишь пузырь? У Машки взяли, в Генерале! Давай по стакану! А ты со мной

котлетой поделились...

- Хорошо... - сказал я с сомнением. - Только учти - я на мели!

- Знаю, кент, не утомляй. Замётано.

Он разлил по стаканам гуталинного цвета жидкость, и я, чокнувшись с неожиданным собутыльником и преодолев отвращение, выпил. На вкус оказалось - молдавский "розовый". Не сразу улегся он на дне моего желудка. Ноерзal, пое^{зди}х, как хоккейный вратарь перед матчем, и замер. Быстро легкий приятный хмель окутал мою забубенную голову.

- Ну, спасибо, опохмели! - ласково сказал я неожиданному знакомому. - Как тебя звать?

- Кеша! - он протянул твердую мозолистую ладонь.

- И меня почти так же. Только Никеша. Честно.

- Да я вижу, ты не из таких. Художник?

- Пс^хочти. А как ты догадался? Броде ни бороды, ни берета...

- Но взгляду. Взгляд у тебя острый, схватывающий. Я в вашем брате кое-что понимаю...

- Разбираешься? - спросил я с иронией, разглядывая разноцветный фонарь под его глазом и какую-то засаленную рабочую куртку. Он как бы и не заметил иронии.

- С Алепьевым водку пил, пока тот не уснител, - сказал он.

- С Рукиным, пока тот не накрылся...

Я опешил. Имена, им называемые, были широко известны в художественных кругах.

- Как же это тебя угораздило? - спросил я.

- Приговорим бутылку и отчитаюсь! - решил Кеша.

Мы допили портвейн. Странно - бутылка, которую мы распили с моим другом Димой, совсем не опьянила меня, а только взводрила. Эта - подействовала. И, как всегда от портвейна, одновременно живительно и туманяще...

- Кто пьет портвейн розовый, тот ляжет в гроб березовый! - сказал Кеша. - Тайная мудрость элевсинских жрецов! Пойдем покурим?

Я глядел на него с возраставшим удивлением. Да, не простой это был ханыга, не ординарный.

Мы вышли на набережную Мойки. Шумели кипами кронами древние уловатые тополя, припекало солнышко, стройные студентки текстиль-

ногого института спешили мимо, забросив за спину сумки на ремешках, упоенно вдыхая запахи свежей листвы, нагретой воды и тины. Издалека, с Петроградской, донесся пущенный выстрел — значит, уже поддень.

Мы прошлепали дальше вниз по течению. Некий укрытый отпуштукатуренным желтым забором с полукруглыми нишами, угревшийся в тенине набережной садик, усаженный чахлыми кустами акации, привлек наше внимание. Здесь стояло штук пять скамеек, и мы, выбрав ту, что была на солнечной стороне, присели и закурили.

— Значит так, — сказал Кеша. — Сам я родом из Киева, с улицы, извините, Урицкого. Бывать не приходилось?

— Да вроде бы нет.

— Ну так вот. Места там тихие, слободские. То есть сама-то улица шумная, но чуть свернем — деревянные домики с галереями, сады, тишина, сейчас, говорят, это все разломали... Проторчал я в том вишневом раю до самой до срочной службы. Бацал на гитаре помаленьку, винтил какие-то гайки на "Арсенале". Призвали меня в летные войска, а как срок обучения вышел, послали в Египет, на оказание дружеской помощи. Часть наша стояла в пустыне. Первое, что я увидел, когда спрыгнул с грузовика — лежит египтянин в солдатской форме, прямо средь белой пыли, и тяжело дышит. В него какой-то дурак-новобранец, феллах необстрелянный, случайно из винтовки пальнул. Снял я скатку, подложил ему под голову, водой из фляги лицо смочил... Тот, чья винтовка выстрелила, молокосос, сидит на корточках, качается из стороны в сторону, что-то поет заунывное. Нами из кузова выссыпали, окружили, смотрят со страхом и интересом. Война, мать ее...

Тут подскочил щеголеватый такой арабский офицер, стрелявшего по затылку, пилотку сбил, что-то старшому нашему буркнул и на меня набросился. Где, говорит, воинский дисциплину, аллах акбар, не суйся, мол, не в свое дело! А я над убитым присел, значит, братскую помощь оказываю. Тут старший, Красногуб, командует: "Стройсь!", ну и мы в казарму почапали. Скатку я забирать из-под застреленного не стал. Мне из-за нее старшой всю душу вымотал, где, говорит, твоя полная солдатская выкладка?

Ну вот. Отсидел я свое на губе за скатку, и, думаю, тем дело и кончилось. Видел еще того офицера, он при ихнем штабе пере-

водчиком работал. Поглядывал он на меня как-то пристально, не-понятно, я думал - злится. И пошло как положено: у лейтенантов - вылеты, у нас, на земле, хлопоты и ремонты. Дара, пыль, вода, как моча ослиная, солона...

Однажды объявили у нас смычку и дружеское братание. Ну, то есть, совместный концерт художественной самодеятельности и дружеский чай с египтянами. В тот день была у них какая-то го-девчина. На концерт я опоздал, завозился в каптерке, а когда пришел, тесно уже. Присел где-то в сторонке, смотрю, как ихний повар, толстяк, танец живота изображает, а солдаты, что наши, что ихние, ржут, как жеребцы. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь - блестят глазами из полуутеса тот самый штабной египтянин.

- Друг, - говорит, - идем в пески, два слова сказать.

Ну, малость я засомневался, все же страча чужая - что у него на уме? Да и комсостав если хватится - по головке меня не погладят. Друзья друзьями, а без присмотра контактическо очень-то поощрялось, тем более с офицером. Огляделся - все, как и раньше, на повара глаза лупят. Ладно, думаю, ничего странного. И потопал за египтянином.

Стоили мы на приличное расстояние, присели на корточки по ихнему обычью: от ветра и лишних взглядов скрыл нас невысокий бархан, да и тьма стояла - кромешная.

- Меня имя - Али! - говорит египтянин.

- А меня Кешей кличут! - я ему отвечаю.

- Кеша, - говорит мне египетский офицер, - ты хороший - жалеть человека. Я хочу тебя угостить, - и достает из кармана флягу. - Выпей, друг, твой здоровье!

Ну, я отказываться не стал. Глотнул пару раз - оказалось, ром. Отпил немного - для приличия. Протянул фляжку Али.

- Дерни и ты, за знакомство! - говорю.

Тот фляжки не принимает. - Нет, - говорит, - не обидься, но я не пью. А сам - продаживай, не стесняйся!

Я, конечно, продолжил. Разговорились. И здорово мне этот парень понравился. Хоть и в чинах офицерских, и образованный, но держится, как равный с равным. И не подстраивается, никакой, знаешь, в нем задней мысли. Поделился я с ним, какие мои планы

на дальнейшее гражданское будущее. Про детство рассказал на улице, сам понимаешь, Урицкого. А он мне - кое-что о себе. И потом замолчал.

Молчим, а над нами тихое небо, полное звезд. Тишина оглашенная, только верблюжья колючка тихо шуршит от ветра. Тут-то и поведал он мне полуслепотом, что здесь, в этих краях, есть один таинственный город. Основал его египтянин по имени Зу-и-хун аль Нисри. Ничего себе имячко? Ну так вот. Мало кто этот город достигает. Но живут там люди счастливые...

- Сам-то ты бывал, там, Али? - спрашивая.

- Бывать не бывал, - отвечает, - а видел... верхушки его минаретов. Туда попасть не так-то легко. Но ты имеешь шанс, я это понял, когда увидел тебя. Правда... захочешь ли ты туда?

- А что? - спрашивая.

- Да ничего, - говорит. - "Если кому-то случайно удастся попасть в город тайн, за ним захлопываются двери, и он уже не вернется туда, откуда пришел"... Это сказал Саади. Слышал о нем?

- Слыхал! - говорю. - Ну, да я паренек не робкий. Только туда, наверное, немусульман не пускают?

Али засмеялся. - Шлохо знаешь! - говорит. - Все веры - лучи одного солнца, имя которому - аль Хакк, Истинный...

- Ішь, завернул, - сказал я лениво, бросил докуренную папиросу. Кеша внимательно посмотрел на меня, выдержал паузу и, ничего не ответив, продолжил.

- Ну, я, конечно, понял, куда он гнет, и что город тот на карте не обозначен. Однако, чем-то меня этот разговор зацепил. Долго я раздумывал о нашей беседе тем вечером, распивая с арабами дружеский чай под ночным звездным небом...

Виделись мы еще несколько раз, беседовали. Часто - оперативная обстановка не позволяла. Потом его перевели куда-то, кажется, в Асуан. На прощанье он говорит: вернешься на родину - поезжай в Ленинград. Там я учился в академии тыла и транспорта. Осталившись в том городе, у меня, говорит, кореша, они тебе дальнейшее растолкуют. Вот телефон, будешь в Литере - позвони...

Вот так и оказался я в этих местах. После армии приехал, поступил на философский вне конкурса, как демобилизованный. Только через полгода меня вычистили за субъективный идеализм. Но это ме-

ни уже не затронуло. Многое я к тому времени понял, кое-чему научился. Зажил правильной жизнью. Тогда и с Алельевым познакомился...

- Где ж ты приписан? - спросил я у Кеши.

- А нигде. Ношу теперь по ученикам, а есть захочется или выпить - иду в продуктовый, таскаю ящики. Ну, мне там кидают за работу бутылку красного да полкило ливерной, и порядок. В общем, живу - не скучаю. Есть с чем словцом переброситься. Много на свете душ, стосковавшихся по любви. Главное, сам понимаешь, в этом. Вся суть учения...

Тут меня осенило. - Так ты, стало быть, и есть - "Одетый в грубую власиницу"? Я ж о тебе краем уха чего-то слышал!

Он усмехнулся. - Так меня попсари называют, желторотая молодёжь. Любит сказать поторжественней. А я в пророки не лезу. Просто однажды видел, как огонь любви скигает налетевшего мотылька...

- Потому и меня опохмели?

- День для тебя сегодня небезопасный. Ну, мне пора. Будь на стр ме. - Мы ласково попрощались, и он ушел.

Я остался сидеть на скамейке, не без приятности ощущая, как теплый хмель гуляет в моих жилах, и думал: в чём секрет этих встреч, случайных, но истинно ценных? Почему мое одинокое путешествие прерывается? То друга юности встретил, то хорошего человека с подбитым глазом... Я ведь не искал утешения, а лишь забвения своей никудынной жизни. Но случай не хочет оставлять меня одного. Есть в этом некое, не понятой мной, назидание, некий скрытый, пока что, внутренний смысл... Бирочем, зачем это мне, человеку решившемуся?

Солнце мек тем призадернула легкая белесая дымка наступившего дня. Мягкие лучи его, пробиваясь сквозь нечастную листву единственного тополя, с такой лаской омывали мое раскрасневшееся от хмеля лицо, что я и не заметил, как задремал. Голова моя запрокинулась, ноги вытянулись. Наткнувшись на меня участковый, или просто не в меру ретивый общественник, русло нашего повествования дало бы резкий изгиб в сторону вытрезвителя. Но этого несчастья не произошло, ибо, как я подозреваю, вещий сон, который меня посетил, сделал меня как бы невидимым для недоброго глаза. Сон

был такой: сначала пели как бы тигры, но странные, в виде то меандра, то каких-то еще знаменитых древних узоров, вроде стилизованных морских волн с закрученными гребнями. Потом выплыли яркие и хрупкие буквы названия:

ПУРИУРНИЕ КАМНИ

...ТРИ ЖЕНЩИН В ХОЛОДНЫХ ХИТОНАХ. ВСЯК, ДИВУДА НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ПРИГОМИТ ТЯЖЕЛЫЕ СКОЛАДКИ ИХ ОДЕЯНИЯ. ИБО СРОДНИ СНЯ ИЗВИНОМ НАШЕГО МОЗГА, ПРАСТИЧЕСКИ ИХ ВОСПРОИЗВОДЯТ. В БЫЗДОИНОМ НЕБЕ - НИ ОБЛАЧКА, НИ ВЕТЕРКА - ВИХАМИ. ЛИШЬ КУЛЬВИСЫ У НОГ МАТОВАЯ КУДЕЛЬ, БЕСЦВЕТНЫЙ, БАЗИЛИДНЫЙ ХАОС - ИЛИ ТО ОБЛАКА ГОРНОГО УДИЛЬЯ ПРИДИМУЮЩИЕ К ИХ СТОЛАМ? ИЗРУДКА НАКЛОНЯЮЩИСЯ ПРИХА, ПРИКОСНЕТСЯ К ПРОВРАЧНОЙ НИТОЧКЕ ВЛЕДНЫМ РТОМ - И ВОТ, ЗАЗЕМЛЯСЬ НЕРВОСУДИЧНАЯ НИТОЧКА ВИКЗ, В КУЛЬВИСЫ МАТОВЫЙ ПРОИЗВОД... И ПЕРВЫЕ, НАГРЕТЫЕ СОЛНЕЦЕМ КАМНИ, ЗА КОТОРЫЕ НОРОВИТ ОНА УЧЕПИТЬСЯ, НЕ УДЕРЖАТ ЕЕ НИКОГДА. МОНСТОННЫЙ ПЕСОД СНОЮТ ЕЙ ВСЛЕД ГРЯДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЗРЕТЕНА.

НО И ПРАКРАСНА ЭТА КАРТИНА. ВЗГЛЯДЫ: ЯСНОЕ НАВО, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ, ПУРИУРНЫЕ КАМНИ ОБРЫВА. ТРИ ВИЧИХ ЖЕНЩИН, ОБЛАЧЕННЫЕ В СКОЛАДЧАТУЮ ОДЕЯЛУ, И КАДЫМ ИХ ЖЕСТ - СОВАРИЖИИ.

- Хм-хм, - размышил я, тут же проснувшись. Стало быть, я не властен в своей судьбе, а решают ее некие высшие, так сказать, силы? А как же с учением о свободе воли интеджентного человека? Нет, шалишь? Меня на красивом сне не объедешь! Сколько мук, унижения и бедности принесла мне высокохудожественная чистота, сколько злого, безнадежного и порочного угнездилось в бытии, из видящем реального, самого, пусть затрапезного, выхода, что меня и звание сны уже не зацепят! Да и кому я нужен теперь, лизунец и утомленец? ^Разве что Зине? Зина! Зачем ты обличила меня при помощи надкусенного бутерброда? Твой нетерпеливый и глупенький жест, может быть, и переполнил чашу страданий. Горячий потом, исполненный отчаявшегося Никену! А он будете себе лежать на залпанном мазутом песке, одинокий и отравленный, и ничто уже не шевельнется ни в его хладной груди, ни гораздо ниже!

С трудом оторвался я от своих грустных мыслей. Огляделся, увидел, что остальные скамейки тоже теперь не пустуют - по-двоем, по-трое занимают их какая-то пестро одетая молодость. Все явно были друг с другом знакомы, переходили от скамейки к скамейке,

перебрасывались ленивыми фразами. Держали в руках недлинные круглые палочки или трубочки, толком я не разглядел. Изредка подносили эти штучки к глазам и подолгу всматривались в бледное небо. Бережно протягивали их друг другу и снова смотрели. На меня не обращали они ровно никакого внимания.

Легкая послесонная слабость еще не отпустила меня; я не спешил уходить. Сидел развалившись, по-прежнему вытянув ноги, в расстегнутом плаще, лениво созерцал происходящее. - О, пополнение! - подумал я, глядя, как в садик проходят двое миловидных юнцов. Обняв друг друга за талию, старательно повиливая бедрами, они прошлепали к моей скамейке и плонхнулись рядом.

- Мульти! - сказал один другому, что был потемней волосом, - ты что это там сосешь, сосуночек? Никак леденец? Даи и мне, солнышко!

- Ишь какой! - ответил Мульти капризно. - Самому сладко! Не дам!

Беловолосый надул полные губы: - Ну и не надо! Противный!

- Щучу, щучу, глупенький, - промурлыкал Мульти. И тут они проделали штуку, от которой меня из радио-таки покоробило; Мульти поднес свои губы к полным губам другого и языком перетолкнул ему в рот что-то твердое, видимо, упомянутый леденец. Оба покосились на меня с важностью во взоре.

- Дела! - подумал я, собравшись уйти, но тут ко мне подсела девица в холстинковых брючках, не слишком причесанная, с жестянными очками на горбатом носу. Она решительно протянула мне руку.

- Бастинда! - представилась девушка. - Ты что, тоже из этих.. из голубых?

- Каких еще голубых? - пробурчал я довольно-таки неприветливо.

- Нет, значит? Что ж ты тут с ними рассиживаешься? Гони! - И после значительной выдержанной паузы она повернула голову к соседствувшей парочке.

- А ну, Пульта с Мультей, педа... гоги несчастные, семените отсюда! Вон скамейка в теми! Живо!

- Ты вредная! - сказал Мульти.

- Ты у нас слишком ласковый! Ну, кому сказано!

К моему удивлению, юнцы безмолвно ей покорились. С видом обиженных и несчастных, но без тени возмущения, они удалились в другой угол сквера. Бастинда присела рядом.

- Ты мне так и не сказал, кликуха у тебя какая?

- Кликухи нет, а зовут - Никеша.

- Никеша? Попсовое имячко. На чем торчишь?

- Торчу? Кайф ловлю, значит?

- Кайфуют одни алкаши. Торч твой в чем заключается?

- Торч? Наверное в искусстве... Художник я бывший.

- А я думала, тебя привел кто-нибудь из наших...

- Кто ж это - ваши?

- Мы? Мы хорошие. Ты на голубиных не смотри, это приблудные, жалко их, вот и терпим. А мы дети чистые - от мненья торчим!

- От мненья? Это как же?

- Проще простого. У меня флет рядом с Московским вокзалом, окнами на дрожку. Собираемся, садимся вокруг окна и секем. Если долго ж глядеть, приход огроменный! Как от самой крутой масти!

- Что ж это за дрожка такая?

- Дрожка? Ну, табло у Московского вокзала! Знаешь? "Смотрите на экранах"... Но это для тех, кто не врубается. Мы там разных надписей не читаем, мы на дрожи торчим...

- А здесь зачем собираетесь?

- Понимаешь, дрожка-то перекрыта. Сейчас белые ночи. Усек? Вот мы и сходимся в этом садике. А чтоб не скучали, раздала я детям волшебные палочки... Чтоб о дрожке не забывали, на глупости не отвлекались. Некоторые так еще круче торчат!

- Послушай! А ты им книжки давать не пробовала? Ну, для начала, майора Промина...

Онаглянула на меня сквозь очки глубоко, ненужданно пронизительно. Потом глаза ее потускнели, стали пустыми и равнодушными.

- Пап-пап-пап, пара-пар, - сказала она. И прибавила, leisurely растягивая слова: - Листалово? Нет, нам по кайбу дрожалово...

- Ну-ну, так держать! - хмыкнул я иронически.

- От самого, небось, за версту винцемшибает, а туда же, советы подавать! - парировала она неожиданно резко.

- Покажи палочку-то волшебную, - примирительно молвил я.

- Тоже поборчать захотелось?

- Да нет, просто интересно.

Это был обычновенный детский калейдоскоп. Я повертел его перед глазом, с удовольствием глядя на разноцветные праздничные перемены, там совершающиеся.

- Ну как? Нравится? - спросила Бастинда. - Иль присосался, не оторвать!

Я отдал игрушку. - Да, пачанка, красиво живете...

Бастинда внезапно резко утолкнула меня в бок. - Ты послушай, - сказала она доверительно. - Знаешь, что было? Тут вся эта хунта шабила, кололась, на колесах сидела! Такие были прихваты, что ой-ей-ей! А сейчас? Покупай глазелку за семьдесят пять копеек и наслаждайся! Дошло?

- А ты штучка совсем не простая! - подумал я. - Бежет мне сегодня на миссионеров... - Значит, клин клином? - спросил я, усмехаясь.

- Значит, что так! - сурово ответила она. - Хочешь я тебя с кадрком познакомлю? Настоящий втянутый плановой. Он тебе расскажет, что у него и чему. Тогда и рассудишь, как лучше, так или этак. - И, не дожидалась, крикнула сидевшему в отдалении испитому на вид мужчине:

- Эй, Стеба! Иди сюда!

Тот молча поднялся и помуро припелся к нам. Выглядел он недорово, одет бедно, сел рядом не поздоровавшись, глядя в землю.

- Как жизнь? - спросила Бастинда.

- Нормально! - равнодушно ответил он.

- Ножик еще не вышел?

- Нет, слава Богу. - Он усмехнулся чему-то горько и вызывающе.

- Расскажи, что у вас такое с ним получилось. Может, я помогу, помирю вас, мы ведь с ним в норме...

- А мы нессорились.

- Не ссорились, а сам невеселый ходишь. Ладно, давай рассказывай.

- Как хочешь, скрывать тут особо нечего. - Он поднял голову и я увидел, что у него ослепительно голубые глаза. Подергав меня с полминуты в их интенсивном чистом сиянии, поерзав, усаживаясь поудобнее, он рассказал:

- Они тут прозвали меня - Стебок. Стебок, чекануха и пыльным маком ударенный. Есть с чего стебануться...

Значит так: Верка влюбилась в Ножика. И до того она, дура, в него влюбилась, просто по-черному!

Ножик живет один - у него комната в доме на Владимирской, вход со двора. А что значит - вход со двора? Это значит, пока мимо мусорных баков, да по дощечке через канаву, да мимо топольков с обломанными ветками, да по вонючей крутой лесенке доберешься, весь торч поломаешь. Однако к нему ходили. Все же - своя комната, опять же - парень он добрый и компанейский, если, конечно, ему не перечить. Да попробуй, попри на него - Боже избавь! Ну, все сго этот недостаток знали и обходились с ним вежливо. А так - кентуха что надо, последним поделится.

Вот за это Верка, видать, в него и влюбилась. Наглядевшись, как он над Гендриком хлопотал, из припадка его вытягивал, холодное полотенце ко лбу прикладывал, и кранты. - Добрее Ножика, - говорит, - никого на свете нет. - Это про Ножика-то! Ну и бабы!

Я-то до них равнодушный, мне б подкурить, или, на худой конец, чайку крепенького - полежать, в потолок поглядеть, как бегут по нему облачка розовые.

Он немного помолчал, откашлялся и продолжил задумчиво:

- А колоться я не люблю. Приход с того сильный, не возражай, но как-то больницей отдает, шприц дрожит отвратительно...

Ну вот. С того самого случая с Гендриком стала она ходить на Владимирскую. - У тебя, говорит, неприбрано, Ножичек, - давай хеть пол подмету... - Да брось ты, одна пыль от этого! - А я, - отвечает, - водичкой побрызгаю, и ништяк.

Так и кружила она по комнате несколько дней, пока он терпенья не потерял.

- Знаешь, - говорит он, - кончай ты это круженье и мельтешенье, - наркота ведь народ ехидный, в кулачок прыснет. А если уж так тебе хочется, приходи пораньше, чтоб людей не сме-

шить — и занимайся.

Я примчалась, сна к нему ходит. В комнате стало чисто, на столе — салфеточка с вазочкой. Генрик однажды хотел в ту салфеточку высыпаться, да Ножик не дал.

— Не тронь, — говорит, — не тобой поставлено! — И так поглядел на Генрика, что тот, хоть и обкуренный, растерялся.

А в остальном все по-старому. Придет она позже к вечеру, подшавит, и на Ножика падится. Умора, ей-богу. Ну, мне-то что, я человек безобидный...

Промлю пару месяцев. Однажды, когда народу собралась полная комната, Ножик встает из-за стола и говорит: — Вот что, гаврики, Верка у нас курить завязала. Она обращается к новой жизни, идет на фабрику Ногина упаковщицей. Сами засеките и другим передайте: если узнаю, что кто-то поделится с ней дурью, — я из того черепаху сделаю. Усекли?

— Усекли, — говорят, — Ножичек, не заводись. Нам-то курнуть можно? Или сбегать на угол за мороженым?

— Іыц, — говорит Ножик. — Курите себе на здоровье, да со мной поделитесь, я на нуле.

И все бы ничего было, кури не кури, кому какое дело, если б не этот дурацкий случай.

Значит так: идем мы с Ножиком и Веркой по Владимирскому, солнце не светит — пасмурно. Время не позднее, однако какой-то шквал лежит, загорает рядышком с урией — до бровей налился.

— Постой, да ведь это Серега! — говорит Ножик. Я и его мать хорошо знаю, она к моей забегала, когда та живая была! Знаю, где он живет — на Стремянной. давай-ка его оттасим до хаты.

Ну, давай, Только мы за шквала этого взялись — откуда ни возьмись — товарищ майор Ноловинкин на горизонте. — Вы куда? — спрашивает.

— Да мы вот знакомого до дому доставляем! — отвечает ему Ножик.

— До дому? Это вы-то до дому, проходимцы? Небось, разденете в ближней парадной? Знаю я вас.

— Зря обижаете, товарищ майор! — отвечает ему Ножик. — Что

было, то прошло. И его матку хорошо знаю. А он — пашан смиренный, только зеленый.

И все о ничего, уговорили бы майора, да вдруг НМГ подваливает. Оперативные, сволочи, когда не надо. Выскакивают оттуда двое сержантов штампованных, и к майору, мол в чем дело, да чего прикажете.

— А вот тут пьяный в общественном месте, отвезите его куда следует! — говорит товарищ майор (своих застеснялся, должно быть, принципиальность показывает). — А то, говорит, непорядочек у нас получается!

Тут, как на грех, Верка высунулась. — Отпустите его с нами, пожалуйста, он в двух шагах проживает!

— Ну, ты-то молчи, такая и растакая и подзaborная! — грубо отвечает ей Полевинкин. Видно, здорово им начальственный дух овладел.

И гляжу — Ножик завелся. Только хотел шепнуть, мол, хладнокровнее, Ножик, сдержись! — а он возвыши да и врекъ начальнику между глаз!

Тут его штампованные ирутить стали крестьянскими своими ручицами да в машину затягивать. А в машине — третий на стреме, Ножика принимает. Затолкали, и слышны оттуда глухие удары.

— Ну ты, доходыга, — говорит мне товарищ майор, потирая ушибленный лоб, — помоги алкана погрузить!

Что делать, пришлось, плача от внутренней боли. И ведь не погнулся, скотина, майорские руки свои масть, лично пьяного в машину забрасывать. Да уж он такой, давно известная птичка!

Поглядел на бледную Верку и говорит: И ты полезай, шалава! В отделении разберемся!

— С удовольствием! — отвечает она вызывающе, и бледная, нехорошая улыбка у неё на губах.

Меня они не забрали — места свободного, что ли, не оказалось. Стою на Владимирском, чую: ноет мое сердце, томится, плачет по травке. А травки — ни косяка! Нечем избыть мне тоску!

Весь вечер сломялся по знакомым, просил дури. Ну, да плановые народ такой — есть у тебя — угодать лезут, а нет, так не выпросишь — все ж, отвечают, товар дорогой, дефицитный. Ну, взял я большую серебряную ложку, которую берег — мне ее на счастье подарили, когда народился, и смес на Кузнецкий рынок, загнал

какому-то азмату за три рубля. Хана мне без ложки заветной, думаю, ну, да уж все одно. Бегал-бегал, все ж добыл косячок. Несу домой, к сердцу прижимаю, вот, думаю, лафа. И вдруг — Верку встречаю на перекрестке, только что отпустили.

— Ну, что Ножичек? — спрашиваю.

— Дали, — отвечает, — пятнадцать суток. Падлы! — кричит, и плачет, прямо у меня на плече. Ну что с бабьем поделась?!

Поутихла, и мне говорит, а сама дрожит вся: миленький, говорит, голубчик и зайнька — курнуть у тебя не найдется?

— Да ты что, — отвечаю, — окстись, Ножик давать не велел!

— Прощу тебя, — говорит, — заклинаю во имя Бога живого — дай покурить!

И где она слов-то таких наслушалась...

Ну, и отдал я последний свой, с трудом добытый и радостный косячок. Сам же и зарядил беломорину. Посадил в скверике на скамейку, и сунул ей — на, кури. И таким вкусным и страшным дымом от нее веет, что стало мне, братцы, немоготу. Да ничего, перемогся — пошел домой, лег спать.

А они говорят — "Стебок", "чекануха". Тебя теперь Ножик со света сживет, дай ему из отсидки вернуться! Ты его слово знаешь!

Вот я и хожу невеселый, сутки считаю. Восемь суток он уже отсидел.

Мы долго молчали. Потом Бастинда протянула ему картонную трубочку и сказала с выражением простой бабьей жалости: — Ну, поверти, авось приторчишься... И полегчает...

Тут рассказчика взорвало. — Да на кой он мне нужен, твой перископ! — злобно выкрикнул он. — Что я, контуженный?!

Она потерянно замолчала. Мы снова посидели, друг друга как бы не замечая, думая каждый о своем. Наконец к ней вернулась прежняя самоуверенность. — Ну, сделал выводы? — спросила меня Бастинда. — Брубаешься, что к чему?

— Мне трудно судить, у меня ведь свои разборки, не хуже ваших. Одно скажу твердо — пить я сегодня бросаю, раз и навсегда. Так что лихом не поминайте.

Уходя, я оглянулся. На скамейках, пятнистых от солнечного света, сидели развеселые юнцы и юницы. Они задирали головы к

небу, глядя на него сквозь свои волшебные трубочки, и на их свежих лицах трепетали проникшие сквозь листву живые небесные блики. Только Бастыда сидела нахождившись, невеселая, напряженно о чем-то думая...

Я вышел на Мойку. Темная вода ее была кое-где покрыта матовыми участками дневной пыли, между которыми стройно возносились изумительные фасады питерских зданий. Некое специфическое блескание, свойственное пространствам города - днем и средь белой ночи - пронизывало окружавший окосы. Гранитный парапет на той стороне реки был затенен и оттого чуть таинствен. Несколько подалее переходил он в глубокий тоннель Синего моста. Под мостом молотил мотор низкой барки, оттуда доносились невнятные крики. Иной овладело легкое беспокойство, и я с испугом понял, что свидетельствует оно о приближающемся похмельи. Но мне не суждено было сосредоточиться на этой трагической мысли. От высокого крыльца с чугунными стоечками порскнул мие под ноги, и, рассыпавшись, превратился в миниатюрную девушку, потирающую ушибленную коленку, пестрый комок. Я замер, до крайности удивленный. Довольно-таки странное зрелище представляло собой это юное существо. Голову его венчала долотопиная шапочка из велюра с подшитой вуалькой, которую украшали несколько вышиванных измортелей. Руки до локтей были затянуты желтоватыми лайковыми перчатками. На груди красовалась огромная бриллиантовая брошка в виде подковки. Довершали одеяние высокие остросные ботинки.

- Чем стоять-то, как увалень, могли бы и помочь даме подняться! - бросила незнакомка, стирая грязный след на щеке вместе с густым слоем румян. Другая щека так и оставалась на rumянистой.

- Истинно так, извините. Я несколько растерялся... Позвольте вас отряхнуть...

- Позволяю. Только осторожней, здесь кружева... А я, между прочим, по вашу душу...

- ?!

Удивление исему не было предела. Я мог бы поклясться, что вижу ее первый раз в жизни.

- Чем могу служить? - спросил я как можно мягче.

— Поднимайтесь к нам, если не трудно. Я живу в четвертом этаже... Там я все объясню.

— С удовольствием!

Резная тяжелая дверь захлопнулась за нами, погрузив в прохладное полуутенное после яркого дня чрево парадной. Тянуло сыростью откуда-то из подвала. Тяжелые лепные карнизы, голландская печь с оторванной дверцей, медные пинетки перил свидетельствовали о том, что некогда в этом доме селились люди богатые. Традиция эта, по-видимому, соблюдалась и поньше — прихожая в квартире у незнакомки была убрана весьма презентабельно.

— Можете снять плащ! — небрежно бросила она. Тут я несколько приуныл и замешкался, ибо проведенная на замусоренном полу ночь, конечно, не украсила моей и без того нешикарной одежды. Плащ я все-таки снял — иного выхода не было.

— Привела? — раздался из комнаты дадтреснутый старческий голос.

— Да, дед, мы сейчас! — ласково отвечала девушка.

Мы вошли в комнату, где царствовала тяжелая ампирная мебель карельской березы. Светлые ее панели ощеривались вдруг грифоными клыками, львиные разверстые пасти зияли из-под мраморных прессов консолей, орлиные наны столов и кресел впивались в парапет церко и угрожающе. На одной из консолей, рядом со мной, стояли бронзовые часы, где Смерть в складчатом тяжелом плаще, покрытом блестящей темной патиной, острила косу о мраморное точило. Я маниакально крутил его ручку. Тут же раздался прозрачный бой, и часы засигнали — тилинь-чилинь — какой-то волшебный и опасный мотив. Я смешался.

— Извините, — сказал я в пространство и увидел в углу за письменным столом огромного седовласого старика, глядевшего на меня из-за кустистых бровей строго и вопросительно.

— Молодой человек, не отвлекайтесь! — с достоинством вымолви старец. — Я имею задать вам один вопрос: почему мы все хорошо знаем, что Мольера зовут Жан-Батист, а имени Вольтера не помним? Или вы-то как раз и помните?

— Ну, — мымлил я, напрягая последние ресурсы своей весьма неглубокой учености, — ну, помнится, до Белле звали Иоахим, стало быть...

Старик тем временем что-то крестиком пометил в своих бумагах, лежащих кипор на столе, и, не дав мне закончить вконец изыучившей меня фразы, бросил величественно: - Благодарю вас. Не смею задерживать. Остальное вам объясныть Мария Николаевна...

Несмотря на отчетливое пожелание старца я остался стоять, как пришпиленный. Дело в том, что мое внимание привлек и неотрывно удерживал старинный дагерротип в лакированной рамке, висевший над столом. В юной женщине, на нем запечатленной, я узнал... Зину! Она стояла на фоне садового боскета, опираясь на длинный белый зонт с костяной ручкой, в белом кружевном платье, отставив ногу в остроносом блестящем ботинке. У ног ее примостилась пушистая маленькая болонка. Глаза Зины были очень печальные; никогда я не видел у нее живе столь примиренного и вместе с тем безнадежного выражения...

Старик заметил, что портрет меня заинтересовал. Важно кивнув в его сторону, он промолвил неторопливо: - Моя первая жена Зинаида. Умерла в одна тысяча девятьдесят четырнадцатом, по двадцатому году... Вам она кого-то напоминает?

- Н-нет, - ответил я неуверенно, а потом уже тверже: - нет-нет!

- Ну-с, тогда следуйте за Марией Николаевной. Да, вот что, Маша, позабочься, чтобы молодого человека ублаготворить... Ну, ты меня понимаешь.

Последнюю фразу я считал довольно-таки бес tactной, но пренебраться с главою семьи в его доме считал бес tactностью еще большей, и, не проронив ни слова, вышел вслед за Марией Николаевной.

- Мой дед - доктор психологии! - прошептала она с горячностью. - Он выдающийся человек, и к тому же рыцарь, да, рыцарь! Понимаете, что это значит?

- Несомненно! - сухо отрезал я.

- Сомневаясь! - не менее сухо отвечала она. Я готов был совсем разобидеться и покинуть сие странное обиталище, но мы уже оказались в темном коридоре, где, перегораживая его наполовину, стоял огромный платяной шкаф.

- Милый сэр! - сказала девушка грудным голосом, - помогите леди заполнить сей шкаф в приличествующую ей нишу! Он не тяже-

лый, поверте, там уже все разобрано!

Делать было нечего. Я стал двигаться в сторону ниши это увесистое сооружение. Девушка мне помогала, или думала, что помогает, но больше лынула к моей спине острыми маленькими грудями, обдавая возбуждающим запахом молодого чистого тела вперемешку с какой-то изысканной парфюмерией. Легкие касания ее рук казались вроде бы и случайными, но целенаправленно-возбуждающими, так что, несмотря на их настораживающую судорожность, привели меня в довольно-таки злачное состояние духа. Когда с движением шкафа было покончено, мы стали друг против друга весьма развлеченные.

- Да, еще полки надо расставить! - неуверенно прошептала она. - Колесайте вовнутрь... - И как только я оказался в просторной глубине шкафа, дверца его вдруг затворилась изнутри, и меня облепили хладные и горячие члены молодого и страстного существа. - Ланцелот, приди ко мне, Ланцелот... - шептала она со все возрастающим возбуждением. Не стану описывать подробностей моего пребывания в шкафу, скажу только, что все в этой штахе показалось мне настолько родным и знакомым, что, когда дело подходило к моменту безоговорочного слияния, я невольно прошептал:

- Еланя... Зинаида...

Я даже помыслить не мог, что моя, в общем, конечно, непростительная оговорка вызовет столь бурную реакцию. Я вдруг оказался решительным образом отранутым, маленькие острые кулачки били меня по плечам, и голос, полный горечи и отчаяния, воскликнул:

- Зинаида! Всегда Зинаида! Злой рок преследует меня!

- Помилуйте, Мария Николаевна! - воскликнул я в неумелой попытке хоть как-нибудь оправдаться, - вы меня неправильно поняли...

Но, увы, все было конечно. Она вытащила меня за руку на свет Божий, и уж не знаю, какая из ее цек была ярче: нарумяненная, или та, с которой румяна были недавно стерты, но которая горела от возмущения.

Не помню, как я вырвался из этой болезненной, я бы сказал, ситуации. Бырк я себя боязливо шагами мою величественного

здания горсовета. Рука моя машинально, но цепко сжимала горлышко портвейной бутылки. Я поглядел на этикетку. Так... Опять "розовый". Стало быть, в город завезли крупную партию... До чего ж я докатился - со мною расплачиваются натурой! Что ж, по Семьке и папка!

Странный сегодня день! - размышлял я в раздражении. - То какие-то веющие сны, то мистические ханьги, или вот, нате вам, сумасшедшие какие-то аристократы с довольно-таки сомнительными наклонностями... Ну зачем, почему случилась вся эта неожиданная нелепость? Причем здесь шкаф? Или причем здесь Зина? Или то, что я широко грешен и отчаянно сластолюбив, и без того мне не известно? Что за шутки? Поймать на улице... Заморочить вопросами... Соблазнить и отринуть! Морок, морок, все это морок! И я вдруг затосковал по своей оставленной, в лучшие годы добывшей мастерской. Даже их проплешины отлепившейся штукатурки на наклонном потолке моей милой мансарды, забранные крест-накрест, ко-старинному, тонкому, побуревшему от времени дранкой; почные трубы из окна, пусть уже и не курящиеся давно остановленным дымком; трехногий топчан, поддержанный с одного угла в стонку сложенными кирпичами, показались мне милыми и влекущими. Подойдешь к мольберту, прицелившись, кинешь мазок на грунтованную холстину, и стоишь, долго всматриваясь, машинально прислушиваясь к гудению водопроводных труб в коридоре. И такая на душе приподнятая тишина, не знаю, поймут ли меня, именно приподнятая, именно тишина, бесспорочная, творчая! И не нужно ни бормотухи, ни баб, ни заказов, чреватых крупной капустой, ни каких-нибудь там даров и отличий - ни черта! Только Оно окружает тебя, Оно, лишенное свойств, но бездонно глубокое и единственно сущее... Может, вернуться к себе, в малую свою мастерскую, и начать новую жизнь? Впрочем, куда девать портвейн "розовый"? Не выбрасывать же его, право слово, в то время, как сожнут губы и начинает побаливать голова. Впереди, как будто, пивной ларек... Там и вдругу.

Я подошел к ларьку, примостившемуся прямо у парапета. Пьющие пиво расступились передо мной, пропуская в конец очереди, с уважением посматривая на бутылку, отодвигавшую плащ на груди и казавшую белое горлышко из-за пазухи. Тем временем солнце,

еще видное из-за крьи и густых старинных тополей, которые вместе с рекой поворачивали куда-то, сбивали силу. В его свечении появилось что-то томное и тревожное. Было около четырех часов дня, но неудивительный перекос в сторону вечеря уже состоялся. В торжественном и неизбыточном, каком-то оцепенелом молчании ожидали пыщие своей очереди. Красные воспаленные лица, трясущиеся руки, глаза, застывшие в созерцании внутреннего опустошения, которое приносит человеку похмелье. Здесь были люди разных возрастов, по-разному одетые: служаки в костюмах и с портфелями, рабочие в робах, ханьги в разнокалиберном покуклом тряпье. Обычных в подобном месте споров, смехов и словечек не было слышно. Лишь некто, уже сломленный опьянением, сидевший прямо на земле, прислонившись к боковине киоска, бормотал что-то нечленораздельное, монотонное, иногда вскрикивая, что придавало всей обстановке оттенок некоей забубенной, немыслимой литургии.

У продавщицы пива я разоделился мутным, захватанным гравием стаканом, вскрыл бутылку ключом, налил дополна и, преодолевая отвращение, выпил. Примостился между ларьком и перилами набережной, среди набросанных пробок, окурков и оторванных рыбьих голов, глядевших на меня своими подвиженными глазами слепо, но осуждающе. Чайна сдугой и высокой пеной шедущими вокруг. Выбрал местечко почище, поставил бутылку на гранитную плиту набережной. К воде слетела белая чайка, что-то подхватила с поверхности, и, оставив за собой слабые расходящиеся ируги, улетела.

— Говорят, птицы — воплощение чьих-то умерших душ, — думалось мне. Может быть, эта чайка есть Александр Блок, ренций над своим оставленным домом? Ведь он жил где-то неподалеку... Странная мысль. Кабы знать, что я сделалось хотя бы и чайкой, буду сновать, галдя, в кильватере какого-нибудь туристского теплохода и однажды увижу на палубе очень счастливую, кем-нибудь крупным за плечо обнимаемую Зинаиду, и на звонком своем языке крикну им: "Так держать!" Если б знать достоверно, что будет так! Как облегчило бы это знание предполагаемую процедуру. Ведь меня, по сути, ничто уже не удерживает, кроме распитой на треть бутылки. Умереть, не долив, это пошло. Алкогольная общественность, болт-

ливая и въедливо-любопытная, как и всякая, впрочем, иная, узнав об этом, меня, безусловно, осудит. Так и чудится телефонный звонок от "А" к "Б":

- Слыхали новость, глубокоуважаемый? Никогда себя утопил.
- Да ну, что вы говорите? Какими же подробности?
- Да вот оставил на паралете недопитую бутылку, а сам...
- Недопитую? Что ж это мог он не допить? Не представляю.

Ах, портвейн "розовый" Молдавского производства? Ну, это, конечно, не ереванский коньяк, но чтоб не допить... Нет, извините, сознавая всю горечь утраты, должен вам сказать... Да-да, он всегда был немножко со странностями... Что вы говорите? Прекрасная мысль! Надо помянуть бедолагу. Что? Да немного, увы, с копейками руль... Д-да, на углу... Нет, ей-Богу, он меня удивил!..

Вот такой приблизительно разговор пропомнился мне, когда я глядел на оставленный чайкой расходящиеся круги. С трудом оторвав взгляд от воды, я поднял бутылку и налил себе еще.

Второй стакан, будучи выпит, вызвал эффект неожиданный. Когда я докурил сигарету, взятую у кого-то из пьяных пиво соседей и поднял голову, небо будто изломом полоснули: алые и бурые внутренности стали медленно вываливаться из его голубого брюха и оседать на почные трубы далеких крыш. Между ними, словно прожекторные стволы, падали в разных направлениях зловещие солнечные лучи кровяной масти. Дым от автомашин, курившийся над Пиццуевым мостом, приобрел некий угремо-багровый оттенок. Я опустил голову. - Улба-лба! - сказал я себе. - Ках-ца, ках-ца. - Мостовая вдруг стала непослушной, изрытой, неровной. Поднял бутылку, и, затыкал ее пробкой, огляделся воинственно, - не хочет ли кто отнять. Никто, кроме вот этого... он ушел. Я посмотрел на реку. Вода уже достаточно остудилась и стала студнем.

- Навкусно! - подумал я, и меня слегка затошнило. Я ушел от реки. Люди на улицах были угрюмые, полусонные. Иностранец снимал кино через щелку. Девушка, гляди в карманное зеркальце, мазала губы. Шлюха, наверное. В тени забора было холодно и полутемно, и чертовы неотвязные тополя булькали мелкой листвой. Тополя, тополя... песня. Кто-то хотел меня утопить. Ты, что ли, мастер? Да пуст мой карман, зря трудился. Что, съел? То-то, знал наших! Надо бы еще вы... выпить. А? Бутылку уперли, падлы. Ну и город, одни вороги...

Теперь поворот направо.. Куда это я? Что-то холодно. Эх меня. Бrr. Значит так, где я и сколько времени. Долго путешествую. И же шел вдоль Майки. Вон она виднеется. Кажется, я был в отрубе. Надо же - автопилот сработал. Ушел отсюда и снова здесь. Значит, так надо.

Меня знобило. Сильно тянуло по малой мужде. Я прошелся по набережной, ища подворотню потемнее. Забрел в какой-то угромый двор. Примостился между кирпичной стеной и высоким бетонным основанием стальной трубы, косые распорки которой делали ее похожей на баллистическую ракету. Когда я вышел оттуда, в глаза бросились высокие, сумеречно освещенные окна длинного одноэтажного строения. На дверях висела табличка с крупною, плакатным пером выведенной надписью. Я подошел поближе. Сознание вернулось ко мне почти полностью, так что надпись, которую я прочитал на дверях в получьме раннего вечера, удивила меня:

УЧАСТОК "ПАЛЕРМО"

и ниже чуть помельче: "(открыто по техническим причинам)".

Недоуменно рассматривал я обыкновенную казенную дверь с натеками серой масляной краски. - Открыто... - подумал я. Значит, можно войти? Тут же за дверью раздались голоса, она приотворилась, и ко мне, на булький двор, вышли какие-то двое, оживленно переговариваясь.

- Надо увеличить давление эзотеры, - сказал тот, что повыше, снимая с локтя нарукавники.

- Подкрутить шестигранник?

- Ну ясно, что не пентакль! - ответил тот, что с нарукавниками, засовывая их в портфель, и расхохотался. Не переставая смеяться, он внимательно и отчужденно глядел на меня, и, рассмотрев его лицо, я заметил, что нос у него, необыкновенно бугристый и толстый, переходивший в густые пакляные брови, сделан из палье-маше.

- А ты что стоишь, голубчик? - вдруг подлетел он ко мне. - Видишь - открыто? Ну и ступай! - С неожиданной силой он взял меня за руку повыше локтя и втолкнул в помещение. Дверь за мной затворилась; я услыхал, как щелкнул сработавший замок.

- О, да в нашем полку! - услыхал я веселые голоса из глубины помещения. - Давай-давай, не стесняйся! Вольф, наливай!

Штрафника ему!

Я растерянно оглядевшись. Помещение на первый взгляд представляло собой кутро обиженной кочегарки. Правда, котлы, стоявшие вдоль стены, не работали, но запальники были укреплены на подобие факелов отверстиями вверх и каждый из них венчался языком пламени. Таких языков было много, штук десять, их неровный прыгающий свет с трудом разгонял темноту. Пахло горелым газом, пролитым вином, человеческим потом. Синий табачный дым плавал под потолком.

— Да ты ползи сюда, че мендулся! — кричали мне из глубины помещения. — Здесь все свои, либа! В нашем учреждении сегодня сабантуй!

Я решил откликнуться на их зов. Продолев небольшой лабиринт из чертежных досок, поставленных кое-как, вразнобой, я оказался у продолговатого бильярдного стола, на зеленом сукне которого в беспорядке валялись обломанные куски хлеба, колбасы, сыра, табачный пепел. Удивило меня то, что сыр был обгрызен как-то мелко: ровные полуокруглые откусов эпизоды небольшие, не человечьи.

— А, это ты, Никеша! — обратился ко мне восседавший как бы во главе стола, заросший до глаз густую черную бородой, совершенно незнакомый мне человек. — Наслышишь, наслышишь... А что, иди ко мне оформителем! Не обижу... А?

Я не нашелся, что ему отвечать. — Да что это я, — сказал бородатый, — так сразу и подступаю. Вольф, сукин ты сын! Налей гостю!

Мне поднесли грязный стакан с темной жидкостью. Где-то совсем недавно я видел точно такие же зазубрины на венчике стакана. Я замутился и, сколько мог, выпил. Извини, может быть, говорить о том, что питье было все то же — портвейн "розовый". Да, очень крупную партию этого товара прислали в наш город из молдавских степей.

— Ну, как пошло? — спросил юн со старушечным острым лицом, тот, что наливал.

— Спасибо, нормально, — ответил я, преодолев легкую тошноту, и поинтересовался, по какому случаю праздник.

— О, да ничего особенного... Сороковины отмечаем... по нашему... гм... знакомцу! — осклабился остролицый. — Кстати, ты его

тоже, кажется, когда-то знал... Дима. Ну, художник-иллюстратор, Дмитрий... Сорок дней, как преставился...

- Что вы говорите? - я так и вскинулся. - Не может этого быть! Я же его видел сегодня утром!

- Жить надо memory! - раздался из-за спин чей-то тонкий и злобный фальцет. Я попытался взглядом разыскать наглеца, но за кругом голов и плеч ничего, кроме пляшущих неровных теней, не увидел.

Я обратился к чернобородому. - Скажите мне, это правда? - спросил я полным отчаяния голосом.

- Увы, мой друг, мужайся, но это факт! - ответил начальник, мясистое лицо которого выражало в эту минуту чувство оскорбленного достоинства.

- На поминки попал! - с издевкой прорешал все тот же тонкий и ненавидящий голос. Я не нашелся, что отвечать. Неожиданное горе по другую юности охватило меня с такой силой, что я уронил лицо на руки и разрыдался.

- Ну-ну, успокойся, не горей, бедный Лорик! - опустил бородатый мне на спину свою тяжелую длань, и я, содрогаясь, ощущал позвоночником его твердые и длинные ногти, - ничего, дело житейское... Некойному попросту незачем было жить... Ну, а мы, как видишь, его с удовольствием поминаем. Чем бы тебя отвлечь? Хочешь посмотреть машинное отделение? Это, так сказать, средоточие нашей деятельности... Вольф, проводи!

Вольф как-то нехорошо усмехнулся, отчего его острое лицо стало на миг еще безобразнее, и поманил меня за собой. Вытерев мокрые щеки, я отправился следом. Он провел меня в темный угол котельной, к двери, над которой горела красная лампочка. Набрал нужный номер на замке с шифром и, толкнув дверь, ввел меня в машинное отделение. Сквозь мутное запыленное оконко я, первым делом, глянул на улицу, где синели негустые майские сумерки, и узнал бетонное основание той самой трубы со следами своего недавнего пребывания.

- Смотри! - сказал Вольф каким-то торжественно-страшным голосом. Я посмотрел прямо перед собой. Сквозь узкое жерло печи я увидел слепящее пламя вольтовой дуги, а когда пригляделся, заметил - там, между двух угольных электродов вьется, шипит, пузы-

рится и истончается в дым чахлый крысинный трупик. Дым втягивался в отверстие на электричками, которое, как я понял, ведет к трубе, только что мной видимой.

Полуслепленный на мгновение, я отвернулся голову от печи и спросил в ухасе и отвращении: - Зачем это?

- Фирма "КазМ", - ответил Вольф лаконично, но глаза его горели каким-то непонятным мне торжеством. - Участок "Надермо". Снабжаем весь город!

- Уйдем отсюда, - попросил я, отворачиваясь.

- Как хочешь, - ответил Вольф лаконично, - это не трудно.

Когда мы вернулись к пирующим, я каким-то нестыдом, так сказать, чувствую, отметил, что настроение за столом изменилось. Царило тягостное молчание. Бородатый глянул на меня строго и сумрачно. Он собственноручно налил стакан до краев и, поставив передо мной, коротко бросил: - Пей!

- Спасибо, мне, кажется, хватит...

- Пей, тебе говорят! Иль, невеста...

- Ну, если вы настаиваете, - ответил я, максимально озираясь по сторонам, и отпил немного.

- Он слишком много знал! - раздался все тот же издевательский голос, и я, вскинув глаза в ту сторону, откуда он прозвучал, увидел пухлое безволосое лицико, лишенное подбородка, глаза которого, встретившись с моими, изобразили комический ужас.

- Послушайте, что за наглость! - закричал я прямо в это мерзкое лицико. - Кажется, всему есть предел! Я вас не знаю и знать не хочу!

- А ты кто такой, собственно, чтоб кричать на Валенчика? - угрюмо спросил чернобородый.

- Как кто такой? - опешил я. - Вы ж меня знаете! Сама в оформлении звали, оклад предлагали...

- Ну, оклада я тебе, полоким, не обещал, - насунулся чернобородый. - А интересует меня, что ты за тип, что за птица, чтобы каркать на моего штатного сотрудника?

- Что за птица? - ответил я, усмехаясь. - В чайки собрался... Да вы меня, босесь, не поймете...

- Ты кажется, Морик, того, в Гамлеты метишь... - угрюмо сказал бородатый.

- А хоть бы и так! - воскликнул я, возбуждаясь. На меня на-

пало какое-то необъяснимое вдохновение. Весь этот чадный день, сгущаясь, клубясь, наподобие пьяной тучи, разразился во мне ливнем жарких речений.

- Мечу! - воскликнул я. - Всю жизнь метил! Вы, люди слушающие (кто-то бросил вслед - вот именно!), и не поймете меня совсем. А живет, бродит средь вас популяция неприкасаемых душ! Страшные видом, сильны они духом и провидческим зрением! Пусть они кажутся вам, в лучшем случае, чудаками, в худшем - подозрительными отщепенцами. Это потому, что видят они вещи в истинном свете, а не в искусственном и наведенном! Да, нелегко нам живется. Душа хочется расправиться и взлететь, а ее загружают свинцовыми чурками разных запретов, угроз, обязательств. Сколько сил уходит на то, чтобы вытеснить из души этот сор и хоть немножко сосредоточиться! Как надрывается в ежеминутном борении весь душевный состав! Вот и бежишь в гастроном покупать какой-нибудь гнусный "розовый", пень, чтоб забыться хоть на минуту!

- Или напросишься на чужие поминки! - злорадно заметил тот, кого звали Балончиком, и его глаза, встретившись с моими, вновь изобразили комический ужас.

- Пусть так! Напросишься. Сущая превда - пьем на халяву! Да что - пьем. Все мы - разного рода поэты, романтики и пропойцы - не то, что киряем - живем, и то на халяву, за чей-то ненужный и тяжкий счет. Примите, - канючи, - любезные, в вашу честную компанию. Так уж нам трезве, грустно и одиночно. И вы принимаете... чтоб надсмеяться или убить!

- Ну, это он, кажется, перегнул, - пробубнил Вольф себе под нос. - Тут вам поминки, а не судебное заседание...

- Фи, гадость какая! - воскликнул Балончик, деловито распаковывая пакетик бритвенных лезвий. Он стал раздавать лезвия, прямо в бумагах, обходя всех присутствующих, приговаривая:

- Это - тебе... это - тебе...

- Вот что, други! - сказал чернобородый, вставая и засучивая рукава. - Мы, кажется, ошиблись в этом субъекте. Думали, что он нам, а он... Одним словом, пора мочить, а?

И вдруг стул с треском отлетел у меня из-за спины, по потолку рванулись в мою сторону черные тени, я был схвачен десятком рук и опрокинут, так что лопатки мои воткнулись в твердый бетонный пол. И тяжело дышал, силясь вырваться. Тут, не выпуская меня, клубок разомкнулся, и я увидел, как торжественным аллюром, с бритвой в руке, ко мне вытагивал гладколиций. Он подмигнул мне заговорщики и кивнул чернобородому. Тот, своей сильной дланью схватив меня за подбородок, еще сильнее задрал его, и мое сердце затрепетало вместе с огнями газовых факелов, вставших перед меркнувшими глазами.

Чудовищным усилием вырвал я ноги из чьих-то лап и пнул прямо в живот Балончику. Тот отлетел с тонкимиском. Вдруг входная дверь затрещала, по потолку побежали всполохи от неизвестного сквозняка, и я почувствовал, что свободен.

- Ітас, братва! Шухер! - крикнул чей-то высокий и сплюшной голос, точно пегел пропел. Я вскочил на ноги. В помещение парами, ровно и монолитно раздвигая путаницу чертежных досок, вливались черные гибеллины. Порскнули по углам черные тени недавних моих субъильников.

- Ваши документы! - сказал, подойдя, их главный предводитель.

- Нет у меня никаких документов! - ответил я с сердцем, отряхиваясь и потирая ушибленные места.

- Что ж. Тогда пройдемте.

Предводитель накинул на свою литую бронзовую голову пепельного цвета капюшон, козырнул мне и показал в сторону выхода. Я шел впереди, они вслед за мною. Выйдя из двери первым, я вдруг быстро захлопнул ее (щелкнул сработавший замок) и бросился наутек...

Преследуемый страхом бежал я вдоль набережной Мойки, огибая провалы перед подвальными окнами, но меня, как ни странно, никто не преследовал, как будто наваждение осталось там, за дверью котельной... Я пересек Потсдамер мост и пустился вдоль густых тополей дальше, мимо Новой Голландии. Наконец остановился и перевел дыхание. На фоне бледного неба тускло горели фонари. Я обернулся лицо к старым пеньковым складам, и острое восхищение проникло в мою душу. Поднялся к моему разгоряченному лицу ломтик таю-

шего пространства, поражал редким совершенством пропорций, с которым были укомплектованы сочетания темных тяжелых масс, ее составляющих, к моим глазам подступила вечная и прекрасная арка. Я долго глядел на нее в знак прощания, стараясь навсегда отпечатать в душе образ предельной и пламенной земной красоты.

- Здесь, - думалось мне. Тут-то я с вами и попрощаюсь. И напоследок взглянул вдоль набережной. Навсегда запомнились мне ломтики сухого собачьего помета под фонарем, блестевшие, как темный металл, толстые корявые края тополиных стволов. Я стал быстро срывать с себя ненужную больше одежду. Конечно! - думалось мне. Пусть это будет странный, но и посвятой грех мой. И вдруг...

Из темной подворотни выбежала девочка лет тринацати. Ее преследовали тучные мужчина и женщина, с трудом перевалившиеся на своих толстых лапах. - Ненавижу! - крикнула девочка и, птицей валетев на гранитную глыбу перил, бросилась в воду.

- Помогите! - крикнул мужчина неожиданно мелодическим тенором, подбегая к перилам и свешиваясь в сторону воды, но прыгнуть за ней не решаясь. Девочка, видимо, обо что-то ударилась, под водой, потому что долго не всплывала, а когда всплыла, то двигалась вяло и бессознательно, снова медленно погружаясь. Я бросился вслед за ней, но с таким расчетом, чтоб упасть в воду как можно дальше от берега, туда, где поглубже. Вынырнул я благополучно, опущая на свое лицо и губах легкую аммиачную вонь. Кусок девочкиного платья еще колыхался над водой. Я подплыл к ней и обхватил ее бесчувственное тонкое тело. Плыть обратно, загребая одной рукой, было очень трудно. Я держал к далекому спуску. Наконец мы приблизились. Здесь, на спуске, собралась уже маленькая толпа. Впереди всех была толстая пара; мужчина и женщина что-то кричали, размахивая руками. Как только мы подплыли, девочку вырвали из моих рук, а меня, вторично за вечер, схватили многочисленные цепкие пальцы. - Ах ты дурочка! - слышал я чей-то толстый плачущий голос.

- Меня-то пустите! - закричал я. - Не хочу к вам обратно, будьте вы прокляты! - Да помогите же, видите, человек не в себе! - вибрировал над моим ухом чей-то мощный убедительный бас.

- Да пошли вы все на...! - крикнул я, отбиваясь.

Но тут силы оставили меня, и я стал тихо терять сознание. Последнее, что я увидел, были стройные гармонические массивы старинной арки, восходящие надо мною в светлеещем небе майской прекрасной ночи...

Впрочем, сознание иногда ко мне возвращалось. Меня куда-то несли, где-то клади. Кто-то подходил ко мне и брал за руку. В голове работал какой-то зуммер, так что речей я не различал. Единственная фраза, которую я услышал перед тем, как погрузиться в окончательное небытие, была произнесена деловым, будничным тоном. — Делириум тременс! — сказал мужчина, одетый в белое. — Запишите, Марья Васильевна...

.....

Вот уже месяц, как я нахожусь в больнице. И все-таки достиг устья Нойки — психушка, куда меня поместили, находится на пересечении ее с рекой Пряжкой, при самом впадении в расширяющуюся горловину Невы, которая здесь не Нева уже, собственно, а Финский залив, море... Нет, не подумайте, с головой у меня все в порядке — отделение наркологическое. Лечат меня принудительно от любви к алкогольным напиткам.

Чувствую я себя хорошо, спокойно так. Ну, да ею и понятно — ведь и лекарства там всякие, само собой, так сказать, му то есть да, — успокаивающие душу...

Однажды только раз я поволновался, — когда Зина перестала сидеть приходить. Появилась она, как только я оклемался, что было совсем не сразу. И ей обрадовался — она хорошая девушка, добрая, милая... да... А тут вдруг пропала и перестала совсем приходить. И как-то томился, места себе не находил, что называется, даже, верите ли, плакал в подушку... А потом, по прошествии двух недель, приблизительно, снова пришла. Оказалось, был у нее приступ женской какой-то болезни; врачи ей сказали, что она не сможет родить. И ее как мог успокаивал; если мы винны, принесенные с базара, сидя рядом на казенном шерстяном одеяле...

К Диминой матери я звонил из больницы — он умер несколькими неделями ранее — попал, что ли, под машину по пьянике. Больше ничего ни о ком не слышал, да и немудрено — город большой, всякое может и нем затеряться...

Самое мое любимое сейчас занятие - глядеть из окна. Под окном растут больничные тополя; листья деревьев уже стали летними - налились, потемнели, покрылись глянцем. Но и сквозь них видны какие-то пакгаузы, трубы, сараи, краны... И между ними - маленький кусочек восходящего, горе отлетающего пространства - то белого, то голубого, поблескивающего, несмотря на свою малость, тысячи искр при дневном сильном солнце. Это - море. Глядеть на него для меня радость и мука, ибо чудится там, за далью, какая-то светлая неземная отчизна... Как бы попасть туда, в этот счастливый край?

Май-июль 1980